

К 70-летию Ф. А. Абрамова

Глеб Горышкин

ПЕРЕВЕЗИТЕ ЗА РЕКУ...

Моя поездка на север — на родину Федора Абрамова, на Пинегу, в Верколу...

Писатель оставил нам не только литературное наследие, но еще и обжитую землю. Разговор с его земляками, будь то герои абрамовской прозы или реальные лица, чей голос запечатлен в увидевших свет дневниках, в книге Л. Крутиковой-Абрамовой «Дом в Верколе», продолжается. Однажды Федор Абрамов записал в дневнике: «Мне просто необходимо хотя бы раз в год бывать в родной деревне, пожить там, подумать, поговорить с земляками». Он высказал это как признание самому себе; время выявило в личном общезначимый смысл духовного завещания — всем, кому важно понять, из каких весей Русь пошла, что с нами происходит. Поговорить с земляками Федора Абрамова оказалось существенно интересно надолго вперед — на языке ли искусства, за столом ли в избе художника-философа из Верколы Дмитрия Клопова, друга-приятеля Федора Александровича, в жилищах ли пинежских старух, поныне живых, увековеченных писателем. Абрамова на Пинеге все помнят как заступника перед беспорядком, сокрушаются, вспоминая: «Не хватает Федора Александровича. Он бы...»

Герои Абрамова, будь то Михаил, Лизавета Пряслины, пекариха Пелагея, взыскуют порядка в жизнеустройстве, нравственно узаконенного предками, самим укладом крестьянствования на русском Севере. В романах, повестях, рассказах, пьесах по прозе Абрамова, как, пожалуй, нигде после «Тихого Дона», нам дается возможность

вглядеться в русского человека на randevу с отечественной историей, немилосердной природой, социальными катаклизмами. Персонажи Абрамова не произносят гамлетовских монологов, но в трагедийности судеб, в категорическом императиве нравственного выбора простого мужика или бабы в северной русской деревне явственно слышится, набатно звучит вопрос: быть или не быть России — не кем-то предписанной, не по чьему-то образцу — а самими русскими для себя выстраданной и воспе-той?..

В интервью, выступлениях, дневниках Федор Абрамов снова и снова определял суть предмета, кредо русского национального писателя: «Хочется спросить прошлое: как время меняет национальный характер; что такое русский крестьянин; как происходило раскрестьянивание русского человека?..» Со всей дотошностью своего генетически крестьянского ума Абрамов погружался в историю, социологию, постоянно отдавал должное науке, но цель литературных трудов, смысл гражданской позиции видел в спасении, возрождении нации. Абрамов — выразитель и воспеватель русского духа в пушкинском, толстовском его понимании. Ежели русский дух изведут, пусть даже по самой передовой научной методике, русскому человеку вдруг станет пустынно и неуютно в городах и весях, опустятся у него руки. Что тогда?..

Этот вопрос во всей его бытийной изначальности, с нетерпеливостью, продиктованной крайней напряженностью в многонациональном нашем государстве, прозвучит

чал на Первом съезде народных депутатов. Многие, высказанное с самой высокой в стране трибуны, созвучно тому, о чем говорил — взывал, проповедовал — Абрамов, постоянно чувствуя над собой низкий потолок дозволенности. Как ему не хватало трибуны той высоты, с какими акустическими возможностями, какая ныне открылась народному депутату... А еще бы лучше взойти на колокольню, ударить в набат...

В записях 1980 года у Абрамова сказано: «Пинеге вынесен, можно сказать, смертный приговор: в 2,5 раза больше будет вывозиться леса.

По этому поводу надо бы греметь во все колокола. Но с какой колокольни? Где она? Кто примет близко к сердцу беды Пинеге, раз в Архангельске из-за отсутствия древесины не работают заводы?»

Народным депутатом Федор Абрамов был не по мандату, а по заслуженной им репутации народного заступника. В литературе именно он первым подал пример трезвого взгляда на мнимое народовластие, обернувшееся самым горьким для судеб народа — социальной апатией. И он обладал редкой дерзостью сказать в лицо правду, пусть даже своему возлюбленному земляку. Это в народе уважают.

Я думаю, доживи Абрамов до наших дней, когда вопрос «быть или не быть» поставлен ребром, едва ли бы он подвергся хоть к «большинству», хоть к «меньшинству». Коллективных писем, мы знаем, он не подписывал ни при какой погоде. За большинство почитал тот мир, из которого вышел, — не «регион», а мир русского крестьянства и интеллигенции, — такой разнообразный, с постоянным поиском смысла жизни, с непреходящим упованием на вольную волюшку как высшее благо. Вольнолюбием проникнуто отношение к природе русского сельского человека, его поэтическое мировосприятие, особенно заметное на севере. Этот мир постоянно стучался в сердце писателя, он его представлял, ему служил.

Чтобы понять это чувство, лучше всего почитать веркольские дневники Абрамова. «Просторы, дали. И еще воля вольная. Не свобода, нет, а особое чувство, которое возникает у нас на Севере.

Парение над землей. Особое ощущение жизни, простора, свободы.

Чувство полета, крыла.

И не за этим ли летят сюда птицы с юга? Чтобы ощутить эту волю, изначальность мира и тем самым освежить себя?

Я езжу за волей на Север.

Мой дом — как пароход, как птица, приготавливаемая к полету. Полное растворение в мироздании».

Честное слово, так не хватает нам Федора Абрамова в нашем порыве к миропорядку, при котором можно свободно, по-человечески жить. Так не хватает абрамов-

ской неколебимой уверенности, что не зря, не зря все было.

Однако вернемся от умозрений на реальную почву, на родину Абрамова, в Верколу, завещанную нам (избави нас Бог от праздного любопытства), имея в виду, что Веркола стала предметом внимания многих и многих, как принято у нас говорить, «моделью» для приобщения к «русскому вопросу», нынче весьма популярному. Весною 1987 года я застал в Верколе съемочную группу из Соединенных Штатов в составе трех человек: продюсера-режиссера Дмитрия Девяткина, американизированного потомка русских купцов Девяткиных, известных в свое время на Пинеге, оператора Скотта (Скотт — имя; фамилию я не запомнил; веркольские бабки до сих пор посмеиваются: «Экое имя — Скот; скот с рогами дак...») и ассистентки Маши. Сняли телефильм, загодя купленный не только в Штатах, но и в Англии, Японии: интерес к «загадке русской души» вновь набрал высоту, поскольку в России опять революция — перестройка.

Год спустя Дмитрий Девяткин привез готовый телефильм в Союз, с вполне понойной надеждой показать его нам, но у нас не нашлось средств, технических возможностей для пересъемки или еще чего-то. Фильм был показан единственный раз в Ленинградском Доме писателя на вечеру поминования Федора Абрамова, в мае: Девяткин привез собственный видеоцикл. Изображение быта веркольских крестьян в американском телефильме выдержано в духе подчеркнутого реалистического документализма. Поскольку все снято «скрытой камерой», без приводящей в столбняк снимаемых громоздкой кивоаппаратуры, то и держатся все просто, натурально. Пристально снималось привычное для нас, незамечаемое, например, купля-продажа в сельском магазине, со всем ассортиментом: хлебушком, баранками, бутылками. Какого-либо обличения, критиканства, высвечивания «темных сторон», обязательных нынче в нашем кино, у американцев нет и в помине. Фильм — бодрый, доброжелательный, местами, по нашим понятиям, наивный. И так интересно увидеть нас самих глазами американцев! Но не судьба...

Позволю себе еще одно попутное впечатление: жизнь тем и хороша, что постоянно течет как река; в нее дважды не ступишь. Как-то иду по Невскому, навстречу мне Дмитрий Девяткин, молодой, красивый, преуспевающий американец, идет и плачет, слезы текут ручьями у него по лицу. Я к нему: «Что с тобой, Митя?» Он заплакался мне в жилетку: «Да, знаешь, моя жена подала на развод. Я иду разводиться...» И поведал мне историю о том, как полюбил русскую девушку в Ленинграде, предложил ей руку и сердце, что и было принято... Увез молодую жену в Штаты, там год с нею прожил — и не получилось,

жена заартачилась, вернулась в родительский дом... И вот теперь — разводиться (не знаю, войдет ли этот бракоразводный процесс в статистику рухнувших браков по Ленинграду). Чем я мог Митю утешить? Я предложил ему, по русскому обычаю, куда-нибудь зайти, чего-нибудь выпить. Мы отыскали такое местечко (что в Ленинграде почти невозможно), выпили-закусили, тем и утешились. Для хэппи-энда к этой вставной, матриониальной новелле скажу, что Дмитрий Девяткин нашел себе в Ленинграде еще одну невесту, увез ее опять-таки в Штаты... Дай им Бог любви и мира... Из частной истории можно сделать и общий вывод: русские невесты нынче в чести у американских женихов.

Примерно в то же время, что Девяткин, на родине Абрамова снимала фильм группа Ленинградской студии кинохроники с режиссером Павлом Коганом: «Даждь нам днесь...». Я дважды посмотрел ленту Когана: фильм серьезный, с философическим подтекстом, неоднозначным... чтобы не сказать многозначительным, с апокалиптической символикой, с болезненностью, надрывом в акцентировке, с преобладанием приема над объектом изображения. В фильме Когана мне не хватило абрамовской ясности, недвусмысленности в отношении к миру, той красоты, которая... спасет мир... Самого Абрамова не хватило, он там, собственно, и не ночевал.

По-видимому, наиболее адекватны тому, что мы называем «миром Федора Абрамова», пользующиеся неизменным успехом у зрителя спектакли Льва Додина в Ленинградском Малом драматическом театре по романам «Братья и сестры», «Дом» — у нас, а теперь и за рубежом. Вспомним, что начинались эти спектакли... в Верколе: будущие актеры, тогда студенты Театрального института, их преподаватель Лев Додин жили в монастыре Артемия Веркольского за Пинегой; консультировал их Федор Абрамов; со всех сторон молодых, восприимчивых людей обступала, разговаривала, как пела, нашептывала, завораживала, наставляла — своими ритмами, обертонами — северная деревня, русская до мозга костей, до лучинки в крыле сказочной птицы, на глазах рождавшейся под инструментом крестьянина-самородка Дмитрия Клопова. Успех абрамовских спектаклей в театре Льва Додина — в их национальном звучании, художественном приближении к той самой «загадке русской души», некоей терра инкогнита, находившейся у нас так долго под запретом...

Но послушаем, что сей год говорят на Пинеге... «Сей год» как универсальную единицу времени употребляют всюду, куда ступила нога посланца господина Великого Новгорода в средние века; это — новгородская единица. И на Пинеге тоже. Ради этого (послушать, что говорят) я отпра-

вился на родину Абрамова, в предзимье, как, бывало, ездывал и в другие времена года. Непосредственные впечатления записаны мною отрывочно, при удобном случае, главным образом в комнате приезжающих при Музее Федора Абрамова в Верколе...

В этом месте необходимо обратиться благодарной памятью к создателю музея, первому его директору Ивану Никандровичу Просвирунину, в прошлом военному моряку, родом с Печоры — человеку светлому, истинно интеллигентному, преданному Северу, влюбленному в Федора Александровича...

Моя дорожная муза (или фортуна) сподобила мне на этот раз в попутчики представителя новой генерации (или формации), молодого человека лет тридцати, московского художника-фотографа Сережу. Наша совместная с Сережей поездка на Север явила неопценимые качества моего товарища в путешествии: психологическую совместимость в любом стихийно возникшем сообществе, готовность брать на себя ношу, чапать по грязям в резиновых сапогах, истовую целеустремленность в достижении поставленной цели. Цель он поставил себе — воссоздать средствами художественной фотографии красоту русского Севера, будь то человеческие лица, руины некогда бесподобных по благолепию храмов-монастырей, дива природы... В сознаний московского молодого человека, художника по призванию (Сережа закончил художественный институт), странным образом отложилось некое догматическое представление о предмете интереса как о чем-то неизменяющемся, раз навсегда данном; его выборочный вкус тотчас вылущивал из многообразия действительности то, что, по затверженному правилу, красиво: какую-нибудь деталь старины, всегда эстетизированную. Каждый его выход на натуру сопровождался ритуальным вздохом: «Совдены угробили красоту». (Что трудно оспорить, побыв хотя бы день в том месте, где высился, являл собой жемчужину Севера монастырь Артемия Веркольского, стены коего разобрали на кирпич, а кровлю куполов храма на ведра.)

Скажу еще об одной Сережиной особенности, характерной, может быть, и типичной для столичного жителя: в его многопудовом заплечном мешке находилось все необходимое для автономного плавания по проселкам нашего государства. Чего там только не было: и чай английский, и кофе бразильский, и финская копченая колбаса, и овсяное печенье, и шоколад с орехами, и туалетная бумага... Жизнь научила Сережу не полагаться на общепит, на торговую сеть, природа наделила его недюжинной телесной могучностью. Аппаратура у Сережи, конечно, японская... Вот какие бывают богатыри, какого товарища в дорогу вдруг подарила мне моя — такая привередливая — фортуна.

Итак... прилетели в Архангельск. Из аэропорта приехали на вокзал. До поезда в Карпогоры оставалось три часа. На перроне пахло железной дорогой. Устроились на пустой скамейке, Сережа расшнуровал свой мешок-самобранку...

Вскоре вблизи нас появился архангельский мужик, как большинство мужиков на Севере, в резиновых сапогах с отворотами, с дюралевым кузовом за спиной и еще тяжелой сумкой поверх кузова. Мужик обратился к нам в приказном тоне: «Примите сумку!» Мы приняли сумку. Мужик был лет пятидесяти, огузневший, запыхавшийся. Мы от души предложили ему угоститься с нами чем Бог послал (Сережа добыл из недр мешка), но он совершенно внушительно отказался:

— Я пью запоем. Недавно завязал. За десять дней пятьсот рублей просадил. Это же надо своим горбом потом мантулить. Я по четыре-пять месяцев в рот не беру, а потом срываюсь. На этих алкашей посмотрю, они, ханыги, каждый день тянутся, как еще живы...

То есть архангельский мужик отдавал предпочтение запойному пьянству против перманентного. В этом состояла существенная установка его жизненной программы. Далее он разобрал сложившуюся ситуацию в связи с антиалкогольным указом:

— По двадцать пять рублей за бутылку берут, а то и по сорок. Я на юг ездил, там одна самогонку продавала, четвертак бутылка. А она у нее даже не горит, бурда какая-то. Чего достигли? Сахару не стало. Спекуляцию расплодили...

У архангельского мужика была полная сердитая ясность — в отношении не только последствий, но и первопричин.

— Надо было остановиться на февральской революции, — сказал он с выражением полной изученности вопроса. — Октябрьскую не надо было затевать. Плеханов предупреждал Ленина...

Я изложил противную точку зрения на поднятую проблему. Ощетинившийся архангельский мужик не преминул меня «срезать», как, помните, Глеб Капустин в рассказе Шукшина «Срезал»?..

Над перроном рассеивался дрожащий, мерцающий, игольчатый свет. Было ябько, плывуче, как бы вне времени и пространства.

Наконец мы сели в поезд зеленый, до Карпогор ехать целую ночь. Белье не выдавали, а только зеленые одеяла — «товарные одеялки», как сказала проводница. Белье иссякло, — поскольку урезали план сбора хлопка, или от упадка льна, или еще почему, одно с другим связано неразрывно.

Утром в Карпогорах райком оказал нам услугу, быстро усадил в райкомовский УАЗик, ну, конечно, из уважения к памяти земляка. По дороге шофер указал такое место, откуда недалеко до лесного озера. Он сказал, что летом, когда тебя комары с

мошками угрызут, окунешься в это озеро, и все как рукой снимет. А однажды вблизи этого озера его свояка ужалила змея. Место укуса свояк прижег сигаретой, укушенную ногу опустил в озеро — и здоровехонек убежал домой.

Бывают исторические ситуации (особенно заметные в России), когда люди разuverиваются в посулах науки, государства, правительства... и тогда с какой-то детской доверчивостью принимаются искать панацею от недуга — социального или телесного — в чем-нибудь хоть чуточку запредельном, за пределом несбывшегося, будь то летающие тарелки, инопланетяне, Джунга, Кашпировский, чудодейственное озеро по дороге из Карпогор в Верколу. В такие периоды вдруг заново открывают пророческий смысл в Священном писании, в поллитграмме канонизируют то, что недавно почиталось ересью... И как же нужен бывает в такую смутную пору метаний трезвый, остерегающий голос разума, реализма, рациона... Как дорог ненапускной, судьбою, кровью оплаченный оптимизм. Как не хватает нам Федора Абрамова!

Хотя, конечно, и он, природный веркольский мужик, поди, купывался в том целебном озере, избавлялся от нанесенного комарами увечья. И в народные поверья веровал...

В Верколе я впервые набрел на слово «веретье». Это такая возвышенность, коса, сосновая гривка над сырой низменностью поймы (ее еще зовут релкой). На веретье выстроены амбарчики на сваях — курьих ножках, — под зерно. Нижние венцы у амбарчиков, как и у изб, лиственничные, для крепости; выше тяжелых лиственничных бревен не взынуть; выше сосна...

Прежде Веркола состояла из семнадцати деревень, тут была целая волость, а теперь одно село Веркола, 3 километра от одного края до другого...

Днем падал снег. Мой спутник Сережа радостно объявил, что «это белые мухи». Он был уверен, что такое образное восприятие мира — его привилегия, радовался, как ребенок. Его подкупающая незначительность (он и Абрамова не читал) доставляла ему массу удовольствия — в первооткрытии явления.

Вдоль Пинеги, по ее берегам — пятикилометровые кулисы леса, водоохранные зоны, за этими зонами располагаются зоны эмвэдэшные: будут лес рубить зеки, и рубят уже, и все уж вырублено... Известно, что тайга здешняя невозстановима; на месте ее расстелется, воцарится тундра. И тогда залихорадит трясиным ознобом... саму Москву. Известно, но палец о палец не ударено, чтоб восстановить поруху, будто не у нас, а где-нибудь в Амазонии.

В Верколе около 500 жителей, но всего 10 коров во дворах.

Архангельский этнограф, живущий покамест в Верколе, при Музее Абрамова, вечером за общим чаепитием высказал предположение:

— Отдать землю мужикам, через три года они миллионы огребут, страну невпроед накормят.

Экономическую максималистскую идею он сопроводил демографическим раскладом:

— При арендном подряде по делу хватило бы десяти мужиков, чтобы всю работу уделить, на фермах и в поле. Ну, конечно, при механизации. А что же делать остальным, женщинам? На каждого работника придется около тридцати незанятых. Сейчас им абы как платят, они абы как работают. Значит, что же? Придется развивать все инфраструктуры: кафе, швейные мастерские, дом культуры, дискотеку, ремесла. А куда девать аппарат? В Карпогорах чуть не все работоспособное население сидит в конторах, корпит над бумагами. И ведь так работают, что дым идет. От бумаг.

Этнограф еще сказал, что в Верколе осталось два старинных колодца с журавлями. Мелиораторы прокопали канавы, из колодцев ушла вода.

— Современный сельский мужик, — развивал свою идею этнограф, — прежде всего владеет техникой. И плотницкий инструмент у него хорошо в руке лежит, и печку сложить он умеет. Такая брошюра есть: «Как построить сельский дом». Так она из рук в руки переходит, зачитана до дыр. И «Как сложить печку» тоже. Им дай развернуться, они же за три года миллионы огребут.

Идея архангельского этнографа попервости увлекала своим былинным размахом: «миллионы огребут», «невпроед накормят». Но тут же и замыкалась сама на себе как идея без исполнителей. Увлекают ли на новый трудовой подвиг веркольских мужиков (хочется написать: пекашинских, как у Абрамова) забрезжившие в умах сторонних советчиков миллионы скорого прибывка? Советчики опять же понуждают мужика «гнать лошадей», а пекашинский мужик, как мы помним его по романам Абрамова, даже самый справный: Нетесов, Житов да и сам председатель Лукашин, — на работу спорый, но думает туго, на посул неподатлив. Разве что Егорша падох на скорую выгоду, так он из работников при первой возможности выбыл. Михаилу Праслину и на ум не пришло разжиться. Сам стимул материальной заинтересованности в их время находился под строгим запретом как идеологически вредный элемент. После, когда заговорили об «испытании сытостью» (об этом роман Ф. Абрамова «Дом»), подспудно что-то нарушилось в крестьянском миропорядке, в общинном укладе, при котором веркольская пекариха Екатерина Макаровна Абрамова (прототип Пелагеи) каждое утро в одиночку плавала

через страшные пинежские разливы, в монастырскую пекарню: «Тесто заквашено дак...»

Сколько ни вглядывался Федор Абрамов в своих земляков (сам от их корня пошел), ни в одном так и не углядел оборотистого хозяина, предпринимательскую жилку. Коллективизация всех выстригла под одну гребенку? Раскулачивание выкорчевало кряжи? Да, безусловно, теперь мы знаем. Но все же... Так просто русского крестьянина не переставишь на американские рельсы (даже и поближе, на шведские или финские), как некоторым нынче вдруг захотелось...

Пример «архангельского мужика» из фильма Анатолия Стреляного, подвигничество первого советского фермера почему-то не вызывает энтузиазма на Пинеге. Забегание вперед самих себя, излюбленное средствами массовой информации, едва ли так сразу примут в крестьянском мире, во всяком случае, на слово не поверят. Сперва бы лучше... Но воздержусь от советов, их подано великое множество. Обращусь к тому, что успел высказать Федор Абрамов или не успел, только подвел нить своих размышлений о судьбах русского человека на земле... Возродить крестьянское в крестьянине — с этим призывом выступил Василий Белов, в нем все по Абрамову. Изменить политическую систему — программное заявление, вошло в перестроечный обиход. О чем и помышлял Абрамов: избавить мужика-пахаря от непосильной для него армады советчиков, погонял, реформаторов наверху. Пусть архангельский мужик сам пошлет, сам и обдумает, как ему быть.

По зеленой меже на распаханной пойме, у высокого берега Пинеги бежали кони, беспричинно, ради радости самого бега по мокрой зеленой траве, под хмурящим небом, в еще не свичной остуде первого снегопада.

Кони совершили пробежку и стали. Я спустился с угора на пойму, к реке. Каурый жеребец подошел ко мне, протянул к моей руке свою лошажью голову, запрядал ушами, близко смотрел лиловатым глазом. Я погладил его по щеке.

В Музее Федора Абрамова мне дали школьную тетрадку, в ней откуда-то списанным, ученическим почерком с ровным наклоном, данные о монастыре Артемия Веркольского, в уцелевшем корпусе коего по сию пору располагается восьмилетняя школа. В весенние разливы, в зазимок до ледостава ребятишек перевозят за Пинегу в лодке; зимой бегают по льду; в распутицу ждут у моря погоды. Есть старые люди в Верколе, носят в сердце незаживающую боль: однажды их детки уплыли в школу

и не вернулись домой; лодку перевернуло на стремине.

Кое-что из музейной тетрадки я в точности переписал себе — для памяти; в Верколе каждый все это знает назубок.

Артемий родился в 1532 году (за 399 лет до меня) от кротких и благочестивых родителей Козьмы и Апполинария.

Когда отроку стало двенадцать лет, с отцом работали в поле; Артемия убила гроза. Тело с поля увезли в лес, оставили поверх земли, по обычаям того времени. Над ним поставили деревянный срубчик, но впоследствии он был завален деревьями и сучьями. Под этим кровом тело находилось 33 года. Однажды клирик приходской церкви Агафоний отправился в лес собирать плоды земные. Шел он мимо уже забытого всеми места, где лежало тело Артемия. Увидел свет, обнаружил нетленное тело отрока.

Тело перенесли на паперть церкви святителя Николая, где мощи существовали до 1583 года.

Новгородский митрополит освидетельствовал мощи, указал их перенести в храм Св. Николая.

Далее, судя по записи в тетрадке, память о святом отроке Артемии теряется во тьме веков, заново возрождается со строительством церкви на берегу Пинеги против Верколы, в 1806 году, с благословения архиепископа (в этой церкви спортзал). Повидимому, церкви, монастырьку при ней в глуши лесов было уготовано прозябание, если бы не щедрое пожертвование графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, пожертвовавшей отбелити 5 тысяч рублей.

Настоятель Феодосий укрепил монастырь, привлек братию, возвел вокруг монастыря стену с башнями (очевидцы свидетельствуют, что по стене можно было проехать на тройке), великолепную колокольню.

В 1881 году Феодосий возвел двухэтажную пекарню. (Именно в ней печет хлебы героиня повести Ф. Абрамова «Пелагея».)

После Феодосия настоятель о. Виталий построил собор и корпус (в нем сейчас школа). Освящал собор Иоанн Кронштадтский.

В 1890 году монастырь Артемия Веркольского возведен в первый класс.

Вчера переехали за Пинегу, порато широкую при высокой воде («порато» — стало быть изрядно, шибко, в высшей степени, так говорят на Пинеге и еще где-нибудь). Пристали к закраине песчаной косы, рушащейся в воду. Увидели красную щель. Щелья на пинежском диалекте суть ущелье. Краснота обрывистого берега — от наличия в почве глины, ну да, той самой, что пошла на кирпичи для монастыря Артемия Веркольского. Кирпичи делали вон там, за бывшей крепостной стеной; ямы сохранились.

Поднялись так высоко, как смогли по уцелевшим ступеням лестницы, под зияющим куполом собора огляделись. Сережа уткнулся в камеру, стал ждать солнечного луча, хотя с утра затученное небо ничего такого не обещало. Я спустился наземь, тоже нашел себе занятие: ходить и смотреть. Как-то Дмитрий Клопов поделился с нами одним из собственных умозаключений, выведенных из опыта жизни: «Как ходишь, все бывает, а как не ходишь, ничего не бывает». Воистину универсальное правило для всех, всюду, в любое время.

Дмитрий Клопов создал в Верколе общину, возглавил ее, официально где-то зарегистрировал (в райкоме в Карпогорах сказали где, но я не уловил). Община не то чтобы религиозная, но одушевленная святостью цели: восстановить монастырь, хотя бы и по кирпичику. Разумеется, с привлечением всех сочувствующих и верующих, в стране и за рубежом. Вот не хватает Федора Александровича, поддержал бы, это уж точно. Он в свое время подарил Мите Клопову мотоцикл с коляской, Митя и по сей день на коне; безлошадному бы ему не угнаться за всем...

Как-то вечером нас с Сережей пригласили в избу к бабе Шуре Яковлевой (мы сами напросились) побеседовать с бабульками, не теми, что обезножели, сидят у окошек в своих сосновых крепостях, а теми, что побойчее. Сережа изложил бабулькам свою программу фотографа-художника, не очень им, правда, понятную. Да и самому ему тоже... Как-то сбивчиво он излагал, то и дело путаясь в наборе штампов. Впрочем, это бывает с художниками: невладение словом. Кем-то даже замечено: художник, как собака: все видит, а сказать не может.

— ...Ну вот, что-нибудь такое, — косноязычил Сережа. — Я бы сделал натюрморт, какие-нибудь фрагменты... Чтобы клюква была. У вас клюква есть?

— Да есть, че другое, а это... — пообещали бабульки.

— Или грибы... Вы бы испекли что-нибудь такое, пироги с грибами... Нет, я ничего не имею в виду...

— Да можно, — с сомнением приглядывались к гостю бабульки.

— А почему вы куриц не держите?

— Эва, парень, куры-те тепло любят, а у нас, знаешь... В старо-то время кроватей этих не было, робятишек на полаты вздынут, да и ладно. Каки куры...

Сережа зевнул, аж хруст раздался во всем его обильном естестве.

— Нет, ну я думал, что на Севере живут богато, такие дома, шестистенки...

— Дома-те на две семьи строены, делились дак... Ишо для скотины — для повети: сено держали. Сами-те кое-как, в закуточке.

— А печку вы топите?

— Да как не топим? Топи-им. Печку не истопишь и ноги протянешь.

— Мне бы хотелось снять, чтобы в печке огонь, может быть, угли.

— Да угли-те нагорят. Сымай.

— Да нет, вы знаете, хотелось бы снять какие-нибудь пирожки, вы печете? Что-нибудь такое местное, шанежки. Нет, нет, я сам на них не претендую, хотелось бы показать колорит, чтобы пышки, а на окне бы корзинка с клюквой. Я бы на фоне клюквы снял бы пейзаж за окном.

— И клюкву найдем.

— Хотелось бы снять повесть, а на ней сено.

— Сена сей год не держим, коровы нет дак.

— А почему не держите? Северный крестьянин всегда держал корову или двух.

— Мы надержались, а молодые не умеют, разучивши дак.

— Ну, этому же так просто научиться.

Бабульки зашевелились, посерьезнели.

— С коровой жись проживешь и то иной раз не знаешь, как к ей подойти. Корова — существо одушевленное, что ты ей дашь, тем же и она тебе отплатит.

Сережа зевнул.

— Я к вам зимой хочу приехать. В марте, когда снега засверкают. Мне бы хотелось снять охотника с ружьем, на лыжах. У вас кто-нибудь на лыжах ходит?

— Как не ходить. Ходит, кому делать нечего. Эвон Мишка Усанов... Только в марте-то уж не охота.

— Нет, я не имею в виду, чтобы у него медведь за плечами или связка зайцев. Мне хочется показать что-нибудь вечное: мужик идет в тайгу на охоту. Леса у вас глухие? Заблудиться можно?

— Как не заблудиться? Прошлый год Емельянова женка пошла по ягоду, да и стемнелась. Хватились, криком кричали, стреляли. Утром рабочие с лесопункта такой гул подняли. Явилась сама не своя.

— А звери есть? Медведи?..

— Как не быть?! Полно! У Анны-те Веселовой, на грязях живет, в лошшины... Мужик померши у ей, оная живет. Спать уж собравши была, тут ей поблазилося, кто-то в окно заглядывает. Она в окно сунулась, а там медведь на ее смотрит. Ох, тошнехонько! Она печку скоренько затопила, а он ишо заглядывал. Столько страху на ее напустивши, дак скоренько она и померши.

Сережа зевнул.

— Ну, а вот баню..

— Дак баня у меня истоплена, — готовно отозвалась одна из бабулек. — Иди парься!

— Да нет, мне бы интересно кого-нибудь снять, чтобы на полке сидел, напарился докрасна... Хорошо бы северную девушку с длинной косой...

Бабули опять пошевелились, потупились, запереговаривались.

— Таких девушек у нас нет, парень. Это у вас там, а у нас нет!

В заключение надо сказать, что Сережа не отвязался от бабулек, и они ему предоставили все обещанное. Сережа снял и сено на повети, и клюкву в берестяной корзинке — на самой чувствительной в мире пленке. Напарившуюся докрасна девушку с косой не снял... В будущем году выйдет красочный календарь с картинками русского Севера, снятыми Сережей.

Я думаю, всех нас, грамотное население, можно поделить на две части: одни читали Федора Абрамова, другие не читали. Нечитавшие и на моту не продвинулись далее клюквы в понимании крестьянской жизни, русского Севера и всего такого прочего, равно как и в разгадывании «загадки русской души».

Шли от монастыря, от Ильинской деревянной церкви к бывшей деревне Ежемьень, свернули к Артемьевой часовне. Сопровождавшая нас сотрудница Музея Ф. Абрамова Александра Абрамова сказала, что знатоки приезжали, определили: раз к часовне пристроили алтарь, это уже не часовня, а церковь.

На Артемьевой церкви был навешен замок и сорван. Внутри церкви на алтаре стояла домовина — просторный гроб из тесаных досок. На этом месте, согласно преданию, и был поставлен срубец с телом преставившегося отрока Артемия. Прошедшее с тех пор время в пустой деревянной церкви посреди пустого места никак не ощущалось; гроб вполне мог быть обитаемым. Все помещение церкви застелено, завешано рубахами, платками, еще какими-то тряпками, белем. Сюда приносят ту часть одежды, с той части тела, какая занемогла, затосковала, в надежде, что праведный Артемий поможет против хвори. Вот как языческое перемешалось с православным. Что ни говори, а много в нас дохристианского, идолопоклонного...

В домовине Артемьевой лежало несколько бумажных рублей с мелочью. Саша сказала, что на Артемия (5 августа) нанесено было больше ста рублей — на содержание церкви. Кто-то, скорее всего приезжие, замок сломал, все унес. Я мысленно попенял бабулкам за их ротозейство; одной хотя бы поручили за церковью приглядывать, приношения обирать. А то что же?

В изголовье праведника развешаны белые плащаницы с вышитыми на них красными крестами аппликациями, какие-то нездешние, похожие на знамена крестоносцев...

Мы с Сашей поднялись на колоколенку, увидели окрестность на все стороны. Саша сказала, что сеют жито; когда летом сюда взойдешь, посмотришь, — колосья колыхаются, шелестят, шепчутся.

Церковь подпахали под самую ступеньку крыльца. Якобы усердие в трудах, а на самом деле бездумное озорство. Почему не оставить вокруг храма лужайку с цветами и травами? Кто указал? Кто исполнил? Какое-то проклятие тяготеет над нами: уже не одно поколение «советского народа» — и наше, и последующие за нами — патологически не хотят, не могут признать естественного права наследования, своего духовного родства с тем, что чтили в России, во всем христианском мире...

В соборе монастыря Артемия Веркольского на сохранившихся фрагментах фресок лики святых угодников заляпаны какой-то мерзкой черной жидкостью. Может быть, приносили склянки с соляром, целились, кидали — надругались над угодниками и что-то человеческое, божеское невозвратно потеряли в себе, лишились опоры. Сорваны оклады в бывшем алтаре, в прошлый мой приезд они еще были на месте. У кого рука поднялась? Кто целил склянкой с соляром в лик святого угодника Николая? Кто? Зачем? Откуда взялась эта ненависть? За ответом недалеко ходить. Наш строй, наша система — с отчуждением человека от земли, природы, родительского дома, родных могил, от самого Господа Бога с его угодниками — породили в бессвязно живущем человеке ожесточенное, пагубное неприятие старины, собственной колыбели. Человек одичал.

Еще прошли вязкой пахотой до деревни Смутово, в три избы. Здесь, бывало, ночевывал Федор Александрович. Посидели на лавочке над рекой, на задах у избы огромной, потемневшей, посеребренной. Пришла хозяйка избы баба Дуся, одна жительствующая здесь, в ватнике, в валенках с галошами, в суровом платке — в той самой одежде, в какой ходили пинежские бабы в романах, рассказах Федора Абрамова; с лицом замкнутым, обветренным, с теми же следами долголетия, устойчивости ко времени и непогоде, что и ее изба.

Сереза попросил у бабы Дуси разрешения снять ее, баба Дуся осердилась:

— Кому я нужна без зубов да в худой одежде?

Баба Дуся не поддавалась на уговоры.

Мы перешли к другой столь же громадной избе. На усадьбе нас встретил дед в очках, в шапке со спущенными ушами, в кирзовых сапогах, в латаных-перелатанных штанах, ватнике, с клюкой в руках. Дед ждал нас, накапливая в себе давно искавшую выхода желчь. Он высказал нам то самое, что витало в атмосфере.

— Вот скажите, — заголосил дед (после мы познакомились: Иван Иванович Яковлев), — зачем мы кровь проливали, за что? Две войны прошли, все на своем горбу ташили. За что мы теперь мучаемся? Коммунисты с комсомольцами в тридцатые годы храм рушили. Колокол скинули, да он на два метра в землю ушел. А теперь

спохватились? А? Мне восемьдесят два года, за куском хлеба в Верколе иттить... Раньше дорога была, все. Распахали — зачем? Шиш у их вырастет, да и того не уберут, только технику покурочат. А иттить по пахоте — какво? Председатель сельсовета за что зарплату получает, а управляющий совхоза и того больше? А вот ты, Александра, депутат сельсовета, ты че?

— А ниче, — сказала Александра, — я скажу, меня не слушают.

— А на сессиях че юбку просиживаешь? У меня постановление есть райсовета: мне как инвалиду Отечественной войны доставлять продукты. А продавщица ни разу у нас не бывала. Никому дела нет.

Иван Иванович, было видно, уже выпустил пар, в его лице проступала обыкновенная доброта много поработавшего на веку русского человека. Нас пригласили к столу. Хозяйка Анисья Григорьевна заварила последнюю щепоть чаю, поставила на стол тарелку с лапужниками: на лапуге — капустном листе, — на поду в печи испеченными ржаными хлебцами, подала миску с солеными рыжиками, совсем уже посиневшими, прошлогодними. Повинилась: «Сей год грибов не было. А больше нечем угощать».

Потом фотографировались на лавочке. Сереза попросил, чтобы дед приобнял бабу. Дед сказал: «Это можно. Своя дак». Положил руку на плечо Анисье; рука его, будто неживая, лежала на плече подруги как нечто постороннее, бесчувственное.

Шли берегом к переправе, а перевозчика уже и след простыл. Александра присела на корточки, тонким чайным голосом позвала:

— Перевезите за реку-у!

Последний звук ее позыва высоко взлетел, унесся в пустоту смутного предвечерного неба над сизоворонной Пинегой.

С монастырского берега вся Веркола видна как на ладони. И такая она приманчивая, обжитая. Подняться на угор, войти в ограду нежилого дома, постоять у могилы Федора Абрамова, посмотреть в его просветленное на портрете лицо... На последней странице книги «Дом в Верколе» Л. В. Крутикова-Абрамова делится поразившей ее метаморфозой, происшедшей с Федором Александровичем: «Никогда не забуду измученного и отчужденного выражения его лица 14 мая, в день кончины, когда мне разрешили увидеть его после вскрытия. Холодное, окаменелое, чужое лицо. «Это уже не он», — вырвалось у меня... И на траурной панихиде в Белом зале Дома писателя в Ленинграде он выглядел таким же отчужденным.

Но после ночи, проведенной в Верколе, лицо его как бы посветлело, успокоилось. Как будто он был доволен, что вернулся на родину».

Саша Абрамова опять присела, позвала: — Перевезите за реку-у-у!